

Мартин Бубер

Д И А Л О Г

Раздел первый. ОПИСАНИЕ

П о с т а н о в к а в о п р о с а .

Диалогическая жизнь не ограничивается контактом людей; она обнаруживает себя как отношение людей друг к другу, которое лишь воплощается в их контакте.

Там, где можно обойтись без речи и общения, диалогическая жизнь неразрывно связана — как со своим минимальным конституирующим элементом — с взаимностью внутреннего действия. Два человека, участвующие в диалоге, обращены один к другому, и потому — независимо от меры своей активности и сознательности — повернуты друг к другу лицом.

Вполне естественно выдвинуть это положение в столь неформальном виде, так как за формулируемым вопросом о пределах обсуждаемого понятия скрывается вопрос, который вдребезги разносит все формулировки.

Н а б л ю д е н и е , с о з е р ц а н и е ,
о с о з н а н и е .

Можно различить три способа восприятия человека, находящегося перед нами. /Я не имею в виду человека как объект научного знания, а также не требую, чтобы объект нашего восприятия знал о нашем существовании, состоял с нами в каком-нибудь отношении или имел на наш счет какую-либо точку зрения./

Н а б л ю д а т е л ь всецело погружен в то, чтобы зафиксировать в своей памяти наблюдаемого человека, чтобы "замечать" его. Наблюдатель прощупывает и регистрирует, то есть старается отметить как можно больше разных "штрихов", он караулит их, чтобы ни один не ускользнул. Наблюдаемый состоит для него из совокупности штрихов, и неизвестно, что скрывается за каждым из них. Знание че-

ловеческих способов выражения постоянно пополняется вновь возникающими индивидуальными разновидностями и остается по-прежнему пригодным. Лицо сводится к физиогномике, его движение — к мимике.

О з р и т е л е нельзя сказать, что он — весь внимание. Он принимает позу, позволяющую ему свободно созерцать объект и спокойно ожидает, что ему будет предложено. Только в начале, возможно, им движет некая цель, все остальное непроизвольно. Зритель не стремится неразборчиво схватывать штрихи, он позволяет себе отключаться и не боится что-то забыть. /"Забывать полезно", — говорит он./ Зритель не задает своей памяти никаких задач, доверяя ее органической работе, которая сохраняет все то, что следует сохранить. Он не определяет траву как "зеленый корм"; он обращается с ней как хочет, и позволяет солнцу сиять в ней. Зритель не уделяет особого внимания штрихам. /Штрихи сбивают с толку", — говорит он/, и не старается выделить в объекте ни "характерное", ни "выразительное". /"Интересное не может быть значительным", — говорит он/. Все великие художники были зрителями.

Но есть восприятие совсем иного рода.

Зритель и наблюдатель сходным образом ориентированы в своей позиции, а именно в желании воспринимать находящегося перед ним человека. Для них он — объект, обособленный от них и их личной жизни, и именно по этой причине воспринимаемый "соответствующим образом". Все, что входит в их опыт /сумма штрихов у наблюдателя, существование у зрителя/, не требует от них действия, не навязывает им судьбу. Собственно, весь их опыт передается в отдаленные области эстетического восприятия.

Иное дело, когда в "приемный час" своей личной жизни я встречаю человека, в котором есть нечто, что я не могу определить объективным образом, но что мне "что-то говорит". Это вовсе не значит, что мне сказано, что это за человек, что с ним происходит и тому подобное; это значит, что нечто сказано м н е, что мне сообщается

что-то такое, что входит в мою собственную жизнь. Сказанное может относиться к этому человеку /например, что он нуждается во мне/, но может говорить что-то обо мне самом. Сам человек в его отношении ко мне не обязательно связан с тем, что сказано о нем. Он может не иметь ко мне никакого отношения, и вообще не обратить на меня внимания: слово не он мне все сказал, а одинокий человек тихо поведал свою тайну соседу.

Воспринимать слово "говорит" как метафору — значит ничего не понимать, ибо вырезание, на которое я ссылаюсь, — самая реальная речь. Во дворце речи немало покоев, и этот один из внутренних.

Впечатление от сказанного радикально отличается от впечатления от созерцания и наблюдения. Я не могу обрисовать охарактеризовать или описать человека, через которого мне было что-то сказано. Попытайся я это сделать, наступил бы конец всякому сообщению. Этот человек — не есть мой объект; я должен иметь с ним дело. Возможно, мне следует завершить что-то, связанное с ним; или что-то узнать; может быть, я должен ответить человеку, находящемуся передо мной; может быть, сказанное мне долго передавалось и мне суждено ответить в другое время и в другом месте другому человеку, которому знакома такого рода речь, и дело заключается лишь в том, чтобы взять ответ на себя. В любом случае, слово, требующее ответа, направлено мне.

Этот способ восприятия я буду называть **о с о з н а н и е м**.

Вовсе не обязательно, чтобы осознаваемый мною ~~явление~~ **явление** был человеком; это может быть животное, растение, камень. Никакое явление или событие не исключается из числа тех, посредством которых мне что-то говорится; все может оказаться сосудом Слова. Пределы возможности диалога — это пределы сознания.

З н а к и.

Каждый из нас закован в броню, предназначенную для

того, чтобы отражать непрерывно обрушивающиеся на нас знаки. Будучи живыми приемниками, мы нуждаемся, казалось бы, только в том, чтобы являть себя и воспринимать; но риск слишком велик, беззвучные громы грозят нам уничтожением, и от поколения к поколению мы совершенствуем свой защитный механизм. Наше знание убеждает нас: "Успокойся, все происходит так, как должно происходить; тебе ничто не угрожает, ты здесь ни при чем; это всего лишь "мир", который ты можешь переживать как тебе угодно; что бы ты не делал, это проистекает из тебя одного; от тебя ничего не требуется, к тебе никто не обращается; все спокойно."

Каждый из нас закован в броню, на которую, привыкнув к ней, перестает обращать внимание; только моментами что-то прорывается сквозь нее. Но когда такое мгновение проходит и мы спрашиваем себя: "Разве случилось что-нибудь особенное? Разве я не сталкиваюсь с этим ежедневно?", то обычный ответ: "Ничего особенного не произошло, такое случается каждый день".

Знаки, адресованные мне, не представляют собой ничего из ряда вон выходящего; они — именно то, что происходит обычно и каждодневно. Волны эфира бушуют всегда, однако чаще всего наши приемники выключены.

То, что приходит ко мне, адресовано мне. Тем, что приходит ко мне, обращается ко мне мировое событие. Только стерилизуя приходящее, удаляя из него семя обращения, я могу принять его за часть не относящегося ко мне мирового события и подогнать к связанной стерилизованной системе, созданной титаническими усилиями человечества.

Если кто-нибудь из защитников этой многовековой крепости обратит внимание на мой ход мыслей, он обрушит на меня огонь убийственного негодования, заявляя, что все это — разновидность первобытного суеверия, воображающего, что космические события обладают непосредственно постижимым человеком смыслом. Вместо того, чтобы понять некоторое событие физически, биологически или социологически, — говорят эти защитники, — вы пытаетесь постичь его смысл, что невозможно.

Так я оказываюсь неожиданно перед лицом авгуров, разновидностей которых, как известно, сохранились до нашего времени. Однако, независимо от того, гадают они по внутренностям животных или составляют гороскопы, их знаки обладают той особенностью, что уже наличествуют в некотором словаре /пусть даже ненаписанным/. Неважно, сколь ~~ж~~ эзотерической является переданная информация; тот, кто истолковывает знаки, способен понять, какое стечение жизненных обстоятельств означает тот или иной знак. Не важно и то, что совокупность разнородных знаков вызывает специфические трудности разделения и комбинирования, ибо все равно это можно "найти в словаре". Общее обозначение знаков все время сохраняется; вещи остаются неизменными; они открываются нам раз и навсегда; везде можно применять правила, законы и выводы по аналогии. То, что обычно называют суеверием или извращенной верой, представляется мне скорее извращенным знанием. Непрерывная лестница ведет от суеверия, связанного с числом 13, к головокружительным высотам гнозиса.

Реальная вера — как можно назвать приближение и восприятие — начинается с того, что все словари отбрасываются прочь. Встретившееся что-то говорит мне, но что оно говорит невозможно установить на основе какой-либо эзотерической информации, потому что сказанное никогда не говорилось раньше и состоит из звуков, которые никогда не произносились. Сказанное невозможно истолковать, объяснить, познать; это — не вещь и не переживание, которые можно запомнить независимо от ситуации; нечто, входящее в мою жизнь, обращается ко мне в определенный момент и не может быть изолировано; оно есть вопрос вопрошающего и должно получить от меня ответ. /Сказанное есть вопрос, и в этом заключается главная противоположность между любым истолкованием знаков и той ролью знаков, которую я подразумеваю: речь, о которой я говорю, не приносит ни информации, ни удовлетворения/.

Вера — это поток "случающегося однажды", через который

перекинут мост знания. Такие вспомогательные средства, как аналогия или типология, безусловно необходимы для работы человеческого духа, но прибегать к ним в минуту, когда к вам подступает вопрос вопрошающего, означает бегство. Только в потоке испытывается и осуществляется живая жизнь.

При всем моем уважении к мировому континууму пространства и времени, в качестве живой истины я знаю только конкретную мировую реальность, которая постоянно, каждое мгновение протягивается ко мне. Я могу разбить ее на составные части, сравнить их между собой и распределить сходные явления по классам, могу вывести их из предыдущих явлений и свести к простейшим; однако, сделав все это, я не соприкоснусь со своей конкретной мировой реальностью. Неделимая, несравнимая, несводимая, теперешняя, случающаяся однажды-она устремляет на меня свой устрашающий взгляд. /Так в балете Стравинского директор кукольного театра успокаивает зрителей, испугавшихся Петрушки, что это- всего лишь разряженный пучок соломы, и даже рвет его на куски; а в это время живой Петрушка сидит на крыше балагана и смеется над ним/.

Р а з г о в о р .

В ранние годы моей жизни "религиозное" означало для меня исключение. Случались минуты, выпадавшие из обычного хода времени. Какое-то мгновение пронзало твердую корку повседневности, взламывало достоверную устойчивость явлений, и тогда происходил взрыв, в ключья разрывающий существующие законы. "Религиозный" опыт был для меня опытом инаковости, которая не вписывалась в контекст обыденной жизни. Он мог начаться с чего-нибудь будничного, с созерцания давно знакомой вещи, которая становилась таинственной и жуткой, пока, наконец, сквозь нее ни начинал просвечивать путь в пронзенный молниями мрак самого таинства. Однако все могло произойти и без промежуточной стадии- незыблемая структура мира и еще более незыблемая самоуверенность разлетались вдребезги, и меня уносило в полноту бытия.

По эту сторону оставалось обычное существование с его повседневными заботами, а там, вне времени и порядка, царили озарение, экстаз и восторг. Таким образом, мое бытие вмещало в себя две жизни, лишённые всякой связи, если не считать реального момента перехода из одной жизни в другую.

Незаконность такого разделения временной жизни, которая течёт к смерти и вечности, и, лишь покончив со своим временным характером, может завершиться перед их лицом, было разъяснено мне одним повседневным событием.

Случилось так, что вскоре после утреннего "религиозного" порыва, когда я отнюдь не был настроен на беседу, меня посетил незнакомый молодой человек. Я, конечно, сделал все возможное, чтобы наша встреча не была холодной, и обошелся с ним так же внимательно, как с любым своим приятелем. Я внимательно и откровенно беседовал с ним и тем не менее не сумел угадать те вопросы, которые он не осмелился задать вслух. Немного спустя я узнал от его друзей /сам он умер/ и смысл его вопросов, и то, что он приходил ко мне не случайно, а влекомый судьбой, не для пустой болтовни, а для ответственного решения. На что может надеяться человек, когда в минуту крайнего отчаяния он все-таки идет к другому человеку? Наверняка на то, что ему каким-то образом дадут понять, что жизнь, несмотря ни на что, имеет смысл.

С тех пор я махнул рукой на "религиозное", понятое как исключение, извлечение, экзальтация, экстаз; а может быть, оно махнуло на меня. Теперь у меня нет ничего, кроме повседневности, из которой меня не вытащить. Таинство больше не открывается мне, оно ускользнуло, или стало обитать здесь, где все происходит как есть. Я не знаю иной полноты, кроме полноты ответственности и требовательности каждого смертного часа, но зато я знаю, что и ответственность и требовательность относятся ко мне, а также знаю того, кто говорит и требует ответа.

Больше я ничего или почти ничего не знаю. Что касается религии, то диалог предоставляет достаточно места для самых возвышенных ее форм. Как во время молитвы вы не по-

кидаете этой жизни, но мысленно связываетесь с ней в молитве, так и в ту беспрецедентную и поразительную минуту, когда вас призывают свыше, требуют, выбирают, посылают, эта минута не извлекается из вашего смертного времени, а остается там, где была, кивает остальным минутам, которые еще предстоит пережить, и не поглощает вас полнотой, свободной от обязанностей.

К т о г о в о р и т ?

В знаках жизни, с которыми мы сталкиваемся, к нам обращаются с речью. А кто говорит?

Ответ: "Бог" — бесполезен, если он не звучит в решающий час личного существования, когда необходимо забыть все, что мы, как казалось, знаем о Боге, когда следует отказаться от всего завещанного, выученного, изобретенного, когда мы отбрасываем последние клочки знания и погружаемся в ночь.

Но когда мы выходим из нее к новой жизни и получаем знаки, что нам известно о том, кто подает их? Только то, что время от времени мы можем воспринять от самих знаков. Можно, конечно, называть говорящего Богом, но не забывать при этом, что это Бог момента, моментный Бог.

Я прибегну к несколько натянутому сравнению, так как не нашел более точного.

Если вы глубоко понимаете какое-то стихотворение, все ваше знание о поэте ограничивается тем, что вы знаете о нем из стихотворения; никакие биографические данные не представляют ценности для чистого понимания того, что нужно понять: приближающееся к вам "я" — субъект только этого стихотворения. Но когда вы читаете другие стихотворения этого поэта, их субъекты во всем своем разнообразии дополняют и подтверждают друг друга, образуя единую полифонию существования личности.

Подобным же образом из подающих знаки, из произносящих слова в живой жизни, из моментных Богов возникает для нас в своей единственной подлинности Господин голоса, Единственный.

В е р х и н и з .

"Верх" и "низ" связаны друг с другом. Слово того, кто желает говорить с людьми, не говоря с Богом, не завершается; слово того, кто желает говорить с Богом, не говоря с людьми, сбивает его с пути.

Есть притча боговдохновенном человеке, который вышел однажды из сферы сотворенного в безграничную пустыню. Там он блуждал до тех пор, пока не достиг врат таинства. Человек постучал. Изнутри послышался голос: "Что тебе здесь надо?" Человек сказал: "Я провозглашал Тебе хвалу среди смертных, но они остались глухи ко мне. И вот я пришел к Тебе, чтобы Ты сам смог услышать меня и ответить". "Возвращайся обратно, — донеслось изнутри. — Здесь тебя некому слушать. Я погрузил свой слух в глухоту смертных."

Истинно Божье обращение направляет человека в гущу живой речи, туда, где голоса Его тварей нащупывают друг друга, где в самой безуспешности попыток найти друг друга, им удается обрести вечного собеседника.

О т в е т с т в е н н о с т ь .

Идея ответственности должна быть перенесена из области специализированной этики "долга" в сферу живой жизни. Подлинная ответственность существует только там, где есть реально отвечающий.

Отвечающий на что?

На то, что происходит с ним, на то, что можно увидеть, услышать и ощутить. Каждый отпущенный нам конкретный час со своим содержанием, извлеченным из мира и судьбы, представляет собой речь для внимательного человека, ибо одной внимательности вполне достаточно для того, чтобы приступить к чтению поддаваемых нам знаков. Как я уже сказал, механизм нашей цивилизации стремится предотвратить людей от подобной внимательности и ее последствий. Внимательный человек не способен, как прежде, овладеть ситуацией в тот момент, когда она к нему подступает; на-

против, ситуация возлагается на него, поднимает его до себя и вбирает в себя. Более того, все, чем он владел и считал полезным— знание, техника, система, программа— становится ненужным, потому что ему приходится иметь дело с тем, что ускользает от классификации— с самой конкретностью. У ее речи нет алфавита; каждый ее звук— новое творение, который постигается только как таковой.

От внимательного человека естественно ожидать, что он обратится лицом к мирозданию, каким оно оказывается. Оно оказывается речью, но не пролетающей над его головой, а направленной прямо в него.

Звуки, из которых состоит эта речь /я повторяюсь, чтобы устранить возможное неправильное понимание, будто я имею в виду нечто экстраординарное и большее, чем жизнь/— это события нашей личной повседневной жизни. В них, будь они "крупные" или "мелкие", нам адресуется нечто, в силу чего "мелкие" события оказываются не менее важными, чем "крупные".

Однако осознание знаков еще не определяет нашего отношения к ним. Мы можем хранить молчание /ответ, характерный для определенных поколений/ или вернуться на прежнюю дорогу, хотя в обоих случаях унесем с собой рану, которую невозможно залечить ни трудовой деятельностью, ни патриотическими эмоциями. И все-таки может случиться так, что мы, заикаясь, осмелимся ответить— душа редко способна к уверенной артикуляции, но и это заикание благородно, ибо чувство и горло объединились в намерении что-то сказать, хотя горло оказалось слишком испугано, чтобы чисто передать уже сложившийся смысл. Слова нашего ответа произносятся в непередаваемой речи дел и решений— причем дело может вести себя как решение, а решение— как дело. Разговаривая таким образом с бытием, мы приближаемся к шагнувшей нам навстречу ситуации, мы вступаем в ситуацию, которую прежде не знали и не могли знать.

Бесполезно надеяться, что нам удастся быстро с ней покончить; ситуация не завершается осознанием, мы лишь приглушаем ее, погружая в состав живой жизни. Только

потом, верные моменты, мы переживаем жизнь, как нечто иное, чем сумму моментов. Мы откликаемся на момент и, вместе с тем, откликаемся от имени момента; мы отвечаем за него. Собака взглянула на вас, вы отвечаете за ее взгляд; ребенок взял вас за руку, вы отвечаете за его прикосновение; множество людей движется вокруг вас, вы отвечаете за их нужды.

Н р а в с т в е н н о с т ь и р е л и г и я

Ответственность, которая не откликается на слово-метафора моралистики. Фактически ответственность существует лишь тогда, когда есть суд, перед которым я несу ответ; а "ответственность перед собой" имеет реальный смысл только тогда, когда "я", перед которым я отвечаю, проявляется в абсолюте. Но тот, кто практикует реальную ответственность в диалогической жизни, не нуждается в имени Говорящего Слово, перед которым несет ответ, — он знает его в сущности того слова, которое давит на него, врезается в него и тревожит до самых глубин сердца. Человек всеми своими силами хранит веру, что Бог есть, и отведывает Его в строгом причастии диалога.

Неверно думать, что я отвергаю нравственность с тем, чтобы превознести религию. Безусловно, религия превосходит этику уже тем, что она — феномен, а не постулат, и тем, что она влечет за собой как самообладание, так и решимость. Реальность этики, требование требующего имеются и в религии, тогда как реальности религии, необусловленности бытия требующего в этике нет. Вместе с тем, религия, которая превозносит себя и отстаивает свои права, столь же сомнительна, как и этика, именно потому, что она несравненно актуальнее и содержательнее ее. Религия, готовая на риск, религия, согласная махнуть на себя рукой, — это питаемый ток артерий; религия, превратившаяся в систему, религия владеющая, уверенная и уверяющая, религия, которая верит в религию, — это кровь вен, переставшая циркулировать.

И если этика, как ничто другое, способна скрыть от нас лицо нашего собрата-человека, то религия, как ничто другое, способна скрыть от нас лицо Бога. Там принцип, здесь догма; и как высоко не ценю я "объективную" компактность принципа или догмы, за обоими скрывается мирская или священная война против ситуационной власти диалога. Даже в том случае, когда исходная претензия догмы неоспорима, она быстро превращается в возвышенный способ защиты от откровения. Откровение не терпит законченности, но человек, помешанный на безопасности, самыми разными уловками поддерживает эту законченность.

Раздел второй. ОГРАНИЧЕНИЕ.

С ф е р ы.

Сферы диалогической и монологической жизни не совпадают со сферами диалога и монолога, даже если бы они включали в себя формы без звука и мимики. Дело здесь не только в том, что существуют большие сферы диалогической жизни, которые не являются диалогом, но и в том, что возможен диалог, который не является жизненным диалогом, то есть, имея видимость диалога, он лишен его сущности. Временами кажется, что существует только такого рода диалог.

Я знаю три разновидности диалога. Есть п о д л и н н ы й диалог-неважно, словесный или безмолвный- в котором каждый из партнеров имеет в виду другого или других в их настоящем и особом бытии, и обращается к ним с целью установления живого взаимоотношения; есть т е х н и ч е с к и й диалог, к которому человека побуждает исключительно необходимость объективного понимания; и есть, наконец, м а с к и р у ю щ и й с я под диалог, когда люди, встречаясь в пространстве, извилистыми и скользкими путями ведут каждый разговор с собой, надеясь посредством этого избежать мук бытия, отторгнутого от собственных источников. Первая разновидность, как я сказал, встречается крайне редко; ее появление- в сколь угодно "неду-

ховной" форме— свидетельствует о сохранении органической сущности человеческого духа. Вторая— характерна для "современного существования", но подлинный диалог скрывается здесь во всевозможных закутках и время от времени неожиданно вырывается на поверхность /при этом его скорее надменно терпят, чем откровенно им возмущаются/— например, в интонации железнодорожного кондуктора, во взгляде старого продавца газет, в улыбке трубочиста. А третья разновидность... Это может быть спор, в котором мысли выражаются не в том виде, в каком возникают в уме, а в том, в каком фигурируют в разговоре, характерный тем, что он способен самым острым образом задеть человека за живое и, вместе с тем, происходит без людей /во всяком случае без людей, о которых можно сказать, что они присутствуют как личности/; беседа, которую определяет не необходимость сообщить что-то, узнать что-то, повлиять на кого-то или войти в контакт с кем-то, а желание поддержать свою собственную самоуверенность; болтовня, в которой каждый считает себя абсолютным и достоверным, а собеседников— относительными и сомнительными; любовный разговор, в котором партнеры наслаждаются собственной блистательной душой и драгоценными переживаниями— настоящая премисподня безликих призраков диалога!

Диалогическая жизнь— это не та жизнь, при которой необходимо часто сталкиваться с людьми, а жизнь, которая сталкивает с теми, с кем вы должны столкнуться. Монологической жизнью живет не одинокий человек, а тот, кто не способен прицать реальность той общности, в которой осуществляется его судьба. Именно одиночество способно выявить глубочайшую противоположность диалогической и монологической жизнью. Живущий диалогической жизнью воспринимает в обычной чередке дней что-то сказанное ему и чувствует себя готовым к ответу. Но и в безмерной пустоте одинокого блуждания человека не оставляет нечто— изменчивое, разнообразное, противостоящее ему. Тот, кто живет монологической жизнью, никогда не осознает другого как нечто, абсолютно обособленное от него и одновременно общающееся

с ним. Одиночество может означать для него богатство переживаний и мыслей, но никогда не открывает новой глубины внутренней связи с чем-то непостижимо реальным. Природа для него — это состояние души, "переживание" в себе или пассивный объект познания; она либо идеалистически привносится в душу, либо реалистически отчуждается, и в любом случае не становится для него словом, постижимым органами чувств.

Человека, живущего в диалоге, даже в крайней заброшенности не покидает резкое и усиливающееся ощущение взаимности; человек, живущий в монологе, даже в самой нежной близости не станет ощупывать пространства вне очертаний своего "я".

Эту противоположность не следует путать с противоположностью между "эгоизмом" и "альтруизмом". Я знаю людей, которые с головой погружены в "общественную деятельность" и не умеют по-человечески разговаривать со своими собратьями; знаю и других, личные связи которых ограничиваются связью с врагами, но их отношение с ними таково, что только по вине последних не переходит в диалог.

Точно также нельзя отождествлять диалог с любовью. Я не знаю в наше время никого, кому удалось бы полюбить первого встречного. Даже Иисус любил среди "грешников" свободных и привлекательных людей, грешивших против Закона, но не тех, кто жил устроенной жизнью, сохранял верность традиции и грешил только против Иисуса и его миссии. И все же он вступал в прямой контакт как с теми, так и с другими. Диалог нельзя отождествлять с любовью, но любовь, лишенная диалога и реального выхода к другому, любовь, замыкающаяся в себе — есть демоническая любовь.

Конечно, чтобы суметь выйти к другому, необходимо иметь точку отправления, необходимо быть самим собой. Диалог между индивидами — лишь контур, который заполняется только в диалоге между личностями. Но благодаря чему че-

му человек способен перейти от бытия индивида к бытию личности, как не благодаря точному и сладостному опыту диалога?

Сказанное здесь являет собой полную противоположность раздающимся порой призывам к всеобщей откровенности. Тот, кто может быть откровенным с первым встречным, не имеет сущности, которой можно было бы лишиться; однако бесполезна наполненность того, кто не может вступить в контакт с первым встречным. Если все конкретное — в равной степени близко, жизнь утрачивает свою артикуляцию и структуру, теряет человеческий смысл. Но мне и моему товарищу по творению не нужен посредник, потому что мы связаны относительно одного центра.

О с н о в н ы е д в и ж е н и я .

Я называю о с н о в н ы м и д в и ж е н и я м и вытекающее из сущности человека действие /можно понимать его как "внутреннее" действие, но оно отсутствует, если не доходит до реального напряжения глазных мышц и подлинной работы движущихся ног/, на основе которого возникает позиция, составляющая сущность этого человека. Я не рассматриваю это событие во времени так, будто одно-единственное действие предшествует долговременной позиции; суть последней состоит скорее во все новом завершении основного движения, лишённого как предумышленности, так и привычности. В противном случае, позиция — в качестве красивой или эффективной позы — имела бы только эстетическое или политическое значение. Известный принцип "Выбери позицию, и остальное придет само собой" перестает быть верным, когда речь идет о существенном действии и сущностной позиции — или, иначе говоря, о ценности личности.

Основное движение диалогической жизни — это о б р а щ е н и е к д р у г о м у . Можно подумать, что оно происходит ежечасно и является чем-то очевидным. Если вы на кого-то смотрите и с чем-то к нему обращаетесь, вы,

конечно, поворачиваетесь к нему телом и, в какой-то мере, душой /поскольку обращаете на него внимание/. Но каково здесь существенное действие, связанное с существенным бытием? В этом отношении следует особо выделить тот момент, когда из непостижимости окружения выступает одна личность и обнаруживает свое присутствие. Теперь в нашем восприятии мир — не столько множество точек, на одной из которых временно остановилось ваше внимание, сколько бесконечное волнение вокруг узкого, ясно очерченного волнолома, способного выдержать сильнейшие нагрузки; волнение бесконечное, но так ограниченное волноломом, что оно становится конечным в себе, обретает форму, освобождается от своего безразличия. Наше обращение к человеку вызывает — пусть незаметный и быстро подавленный — ответ в его взгляде и душе, который, возможно, исчезнет внутри, но все-таки существует. Современная точка зрения, согласно которой обращение к другому отдает сентиментальностью и не соответствует уплотненности сегодняшней жизни — такое же гротескное заблуждение, как утверждение о непрактичности обращения к другому в современной суете; все это лишь замаскированное признание своей слабости при столкновении с эпохой. Современный человек позволяет эпохе диктовать, что можно и что нужно, вместо того, чтобы самому в каждый момент определять все возможные условия, а именно, какой объем и какую форму эпоха обязана уступить человеческому существованию.

Противоположностью к обращению к другому является не "отворачивание", а "р е ф л е к с и я" — основное движение монологической жизни.

Проводя в детстве лето в деревне, я при первой возможности прокрадывался на конюшню и гладил по шее своего любимца, широкогрудого, серого в яблоках коня. Это было не случайным развлечением, а большим, глубоко волнующим, и вместе с тем приятным событием. Объясняя его сейчас, должен сказать, что, прикасаясь к коню, я ощущал существование Другого в его глубочайшей инаковости, которая, однако, не оставалась мне чужой, но позволяла приблизить-

ся и коснуться ее. Когда я проводил ладонью по густой гриве, я чувствовал под своей рукой жизнь, и, казалось, сама жизненность граничит с моей кожей, нечто не принадлежащее и не родственное мне, явно другое /не просто еще одно, а действительно Другое/, и все-таки доверяющее мне, стихийно ставящее себя со мной на Ты. Даже если, входя в конюшню, я забывал подсыпать овса в ясли, конь, прядая ушами, поднимал свою большую голову и негромко фыркал /словно заговорщик, подающий сигнал своему товарищу по заговору/; он одобрял меня. Но однажды, когда я гладил коня, меня вдруг осенило, какую радость мне это доставляет, и я тут же ощутил свою руку. Все, казалось, осталось по-прежнему, но что-то безвозвратно изменилось, и на следующий день, хотя я как следует покормил коня, он не поднял, как обычно, голову. Несколько лет спустя, размышляя об этом случае, я уже не думал, что животное сумело заметить мое отступничество, но тогда я считал именно так.

Рефлексия отличается как от эгоизма, так и от "эготизма". Когда человек интересуется и наслаждается собой, разглядывает себя, трогает, идолизировать, оплакивает— это еще не рефлексия; все перечисленное можно, конечно, к ней добавить, но сама она складывается из иного. /Аналогично, обращение к другому человеку можно дополнить пониманием другого в его частном существовании, что позволит нам переживать общие ситуации с обеих сторон/. Рефлексия— это когда человек уклоняется от принятия своим существенным бытием другой личности в ее особенности, которая не ограничивается его собственным "я", и сущность которой никоим образом не имманентна в ее вещественных проявлениях, соприкосновениях и движениях— а позволяет другому существовать лишь в качестве части своего собственного опыта, "части самого себя". В этом случае диалог становится фикцией, таинственное общение между двумя человеческими мирами превращается в игру; и в неприятии противостоящей человеку реальной жизни распадается сущность всякой реальности.

Безмолвные глубины.

Иногда я слышу, что любое Я и Ты- всего лишь поверхностные слова, направленные в глубину, где отклик перестает существовать, а есть только одно основное бытие, никак не противопоставленное другому. Мы смогли бы погрузиться в состояние безмолвного одиночества, если бы не относительность живой жизни, на которую не накладываются абсолютизированное Я и абсолютизированное Ты с их диалогом.

Из собственного опыта я хорошо знаю, что существует такое состояние, при котором все связи личного характера кажутся отпавшими от нас, и мы переживаем ощущение нераздельного единства. Однако я не уверен, /хотя душа охотно воображает это/, что в таком состоянии я достигаю единства с основным бытием или Богом. Подобное преувеличение не позволительно для внушающего доверие разума. Со всей ответственностью- то есть, как человек, отстаивающий свою позицию перед реальностью- я могу вывести из своего опыта только то, что я достигал с самим собой нераздельного единства лишённого формы и содержания. Можно назвать его изначальным добиографическим единством и предположить, что оно неизменно скрывается под любой биографией личности, любым развитием и усложнением души. Тем не менее, при честном и трезвом взгляде это единство оказывается ничем иным, как единством моей собственной души, в чью "почву" я настолько глубоко проник, что под любыми формами и любым содержанием мой разум воспринимает душу как беспочвенную. Но основное единство моей души несомненно находится вне пределов досягаемости многообразия, воспринятого ею из жизни, хотя, конечно, не за пределами индивидуации, или многообразия всех душ в мире, одной из которых является она- существующая однажды, единственная, неподобная, непревратимая, сотворенная; одна из человеческих душ, а не "душа Всех"; определенное и частное бытие, а не "Бытие" ; сотворенное основное единство создания, обязанное Богу, как обязано творение творческому духу в момент предшествующий освобождению, но не в момент освобождения.

Единство собственного "я" неотличимо для человеческих чувств от единства вообще, ибо тот, кто, поглощенный действием или событием, погружается ниже области всякого многообразия, господствующего в душе, не может испытать прекращения многообразия иначе, как в виде единства. Иначе говоря, он испытывает прекращение своего собственного многообразия как прекращение взаимодействия, как открывшееся или случившееся отсутствие инаковости. Существо, ставшее единственным, не может больше воспринимать себя со стороны индивидуации, то есть, по существу, со стороны Я и Ты. С точки зрения пограничного опыта души "единственный" должно означать то же самое, что и "Единственный".

Однако в реальности своей жизни человек оказывается в такой момент не над человеческой ситуацией, которая могущественнее и подлиннее любых экстазов, а под ней, не над диалогом, а под ним. Он не ближе к Богу, скрывающемуся над Я и Ты, а дальше от него, чем тот, кто в молитве, работе и жизни не покидает позицию противостояния и не ожидает иного безмолвного единства, кроме того, которое, возможно, откроет ему смерть.

Тем не менее, человеку, живущему диалогической жизнью, знакомо живое единство: это единство жизни, которое, однажды достигнутое, не разрывают никакие перемены, которое не распадается на повседневную человеческую жизнь и "одухотворенные", возвышенные часы; это единство настойчивости в той конкретности, где слышится слово и дерзает заикающийся ответ.

О м ы ш л е н и и.

Любому непредубежденному уму ясно, что искусство — по своему происхождению и сути — имеет форму диалога. Музыка вызывает к слуху не самого музыканта, а слушателя, скульптура — к зрению не самого скульптора, а зрителя; они говорят тому, кто их воспринимает, нечто такое, что можно сказать на языке этого искусства. Нельзя ли, однако, само мышление отнести к монологической жизни, указав, что об-

щение в мышлении играет несущественную, второстепенную роль? На первый взгляд действительно кажется, что мысль рождается в монологе. Так ли это? Неужели именно здесь/где, по заявлениям философов, чистый субъект отделяется от конкретной личности, утверждая и обосновывая для себя мир/над диалогической жизнью вздымается недоступная ей цитадель, в которой страдает и торжествует в своем благостном одиночестве человек-в-себе, единственный?

Платон неоднократно называл мышление неслышной беседой души с собой. Всякому, кому приходилось мыслить, известно, что в этом удивительном процессе имеется стадия "внутреннего суда" с его вопросами и ответами, однако на этой стадии мысль не возникает, а проходит проверку и первое испытание. Вместе с тем, проникновение в основную связь, с которого начинается познавательная мысль, не носит характер монолога, как не носят его ни постижение, ни ограничение, ни уплотнение этого проникновения, ни отливка его в независимую концептуальную форму, ни наделение этой формы связями, ни ее подгонка и упорядочивание, ни, наконец, ее выражение и прояснение в языке /исполнявшем до сих пор лишь техническую и побочную символическую функцию/. Именно здесь нам открываются очевидные элементы диалога. Не к себе обращается мыслитель на этих стадиях развития мысли, не перед лицом основной связи отвечает он за свое понимание, и не перед лицом порядка- за вновь возникшую концептуальную форму. Полагать, что это обращение бытия, существующего в природе или в идеях, является лишь беседой с самим собой,- значит не понимать диалектики мышления. Даже первое испытание, первая проверка мысли перед "внутренним судом" имеет, помимо видимой формы монолога, другую форму, в которой диалог играет важнейшую, хорошо известную Платону роль. Тот, к кому обращаются за приговором- не эмпирическое Я, а гений, дух, которым Я намеривается стать, образное Я, у которого родившаяся мысль ищет одобрения, перед которым она выносится с тем, чтобы собственное, завершающее мышление этого Я впитало ее в себя.

И тогда в другом измерении бытия, которое не удовлетворено даже такой передачей полномочий, возникает стремление испытать и проверить мысль в сфере чистого диалога. В этом случае функция восприятия передается уже не Ты-Я, а подлинному Ты, которое либо остается мыслимым и даже ощущаемым как в высшей степени живой "другой", либо воплощается в близком лице. "Человек, — пишет Вильгельм Гумбольдт в своем важном трактате "Двойственное число" /1827/, — даже в интересах обыденного мышления жаждет Ты, соответствующего Я. Любая концепция становится для него определенной и несомненной лишь тогда, когда она отражается от другого мышления. Она вырабатывается, отрываясь от движущейся массы представлений и принимая перед лицом субъекта форму объекта. Но объективность выступает в еще более ~~ясной~~ законченной форме, если указанное разделение не просто происходит внутри субъекта, а если он действительно видит мысль вне себя, что возможно в другом человеке, воспринимающем и думающем так же, как он. Между этими двумя мышлениями нет иного посредника, кроме речи". Сходную мысль, сжатую до афоризма, повторил в 1843 году Людвиг Фейербах: "Истинная диалектика — не монолог одинокого мыслителя, а диалог между Я и Ты".

Этот афоризм выводит за пределы "рефлексии", поскольку даже на первоначальной стадии мышления внутреннее действие происходит относительно реального, а не просто "внутреннего" Ты. Новый важный шаг сделала современная философия, занявшаяся серьезной постановкой своих проблем на основе человеческого существования, ситуации и данности. Мы уже не ожидаем, что Ты воспринимает и философствует заодно с Я; скорее Ты оказывается в оппозиции к Я, так как принадлежит подлинно другому, воспринимающему другие вещи и думающему о них по-другому. Поэтому речь идет не об игре в шашки в воздушном замке, а о связующем жизненном деле на земле, где каждый сознает инаковость другого, но не оспаривает ее, а впитывает в свое мышление, думает в связи с ней, обращается к ней.

Но сколь реально такого рода мышление для современного человека, покинувшего неприкосновенную область чистого мышления? Вошел ли он в реальность? Или он мыслит в реальности, созданной исключительно мыслью? Не оказывается ли другой, которого он допускает и воспринимает, созданием его мысли и потому нереальным? Согласует ли такой мыслитель свою позицию с реальными фактами инаковости?

Если нас серьезно интересует взаимное мышление Я и Ты, то недостаточно адресовать свои мысли субъекту, созданному нашей мыслью. Мы должны жить мышлением в направлении другого человека, который физически предстает перед нами; мы должны жить в направлении его конкретной жизни. Не в направлении другого мыслителя, о котором мы не желаем знать ничего, кроме его мышления, но, прежде всего, в направлении его реальной жизни, в направлении его личности, которая, среди прочего, занимается мыслительной деятельностью. Когда мышление научится выносить присутствие живого человека, включать его в себя, обращаться к нему? Когда диалектика станет, наконец, диалогической — строгим, лишенным сентиментальности диалогом с человеком, присутствующим в данный момент?

Э р о с .

Греки делали различие между могущественным, порождающим мир Эросом и легкокрылым Эросом, сферой действия которого является душа; а также между небесным и земным Эросом. Ни то, ни другое, как мне кажется, не указывает на абсолютное различие, поскольку хтонический бог Желания, от которого происходит мир — тот же самый бог, который в виде "нежного волшебного духа" /Якоб Гримм/ входит в душу и демоническим образом производит там, в качестве посредника подлинного бытия, свою космогоническую работу: он — великая оплодотворяющая бабочка психогенеза. Пандемосу /допуская, что именно он, а не Приап, претендующий на старшинство, — истинный Эрос/ довольно шевельнуть крылами, чтобы разжечь первобытный огонь в телесных играх.

Вопрос, однако, состоит в том, не лишился ли Эрос своих крыльев, не осужден ли он ныне жить только среди смертных, направляя их жалкие жесты смертной любви. Ибо души любящих делают свое дело друг относительно друга; но бескрылые во власти бескрылого Эроса /сила и бессилие которого обнаруживается в них/, они скрываются в своих убежищах вместо того, чтобы воспарить навстречу ~~живому~~ любимому существу и там, в приближающейся загробной жизни, "узнать" его .

Тот, кто верен легкокрылому Эросу диалога способен узнать свое любимое существо. Он переживает его частную жизнь не как видимую и осязаемую, но по собственным реакциям на его движения, по "внутреннему" отклику на его "внешнее". Под этим я подразумеваю ни что иное, как сопереживание и совпадение в покое. Наклон головы напротив- и ваша душа воспроизводит его, но вы чувствуете его не в себе, а в любимом существе, вы воспринимаете этот наклон головы как ответ на свое собственное безмолвное слово. В этом совпадении в покое вы ведете диалог и переживаете его. Верные Эросу диалога, любящие воспринимают общее событие с обеих сторон и буквально физически понимают, что это за событие .

Царство бескрылого Эроса- мир зеркал и отражений. Там, где властвует Эрос крылатый, отражений нет, потому что любящее Я поворачивается лицом к другому человеку, любимому в его инаковости, независимости, собственной реальности, и обращается к нему со всей силой своего сердца. Я обращаюсь к нему как к тому, кто обращается ко мне; не столько я схватываю его, сколько он охватывает меня. Я не растворяю в своей душе того, кто живет лицом ко мне; я даю себе обет в этом; у меня есть вера.

Эрос диалога обладает простотой полноты; Эрос монолога- многолик. Много лет блуждаю я в мире людей, но так и не постиг до конца все разновидности "эротического человека", вассала бескрылого Эроса. Один топчется на месте, влюбленный в свою страсть; другой гордится своими пережи-

ваниями словно орденами; третий наслаждается приключениями своего буйного воображения; четвертый с восхищением наблюдает спектакль своей мнимой капитуляции; пятый коллекционирует возбуждения; шестой демонстрирует могущество; седьмой украшает себя заимствованной жизненностью; восьмой забавляется одновременным пребыванием в собственном облике и в облике совершенно непохожего на себя идола; девятый греется в лучах выпавшей на его долю удачи; десятый экспериментирует, и так далее — какое многообразие монологических героев с их зеркалами в сфере интимнейшего диалога!

Я вел речь о мелкой сошке, но вместе с тем имел в виду левиафанов. Я знаю таких, кто убеждает человека, которого собирается проглотить, что это их святое право, страдание — удел любимого, а все вместе называют героической любовью. Я знаю "вождей", которые своей хищной хваткой не только деформируют зародыш человеческой души, но и разрушают его до такой степени, что он уже не может сформироваться. Они смакуют свое влияние и обманывают себя и свое стадо, воображая, что они — кузнецы душ, а Эрос — покровитель их работы.

Только тот, кто обращается к другому человеку и открывается ему, может воспринять в нем целый мир. Только тот, чья ~~кажущаяся~~ несхожесть, признанная мной, живет и обращается ко мне лицом во всей быстротечности своего существования, отбрасывает на меня отблеск вечности. Только тогда, когда двое любящих говорят друг другу всем, что они собой представляют: "Это — Ты!" — между ними устанавливается подлинное Бытие.

Общность.

С общепринятой ныне точки зрения, определяемой политикой, единственная ценность группы — в масштабах исторической реальности — заключается в том, на что она нацелена и чего она достигла. Всему происходящему внутри группы ценность приписывается лишь постольку, поскольку она оказывает влияние на действия группы относительно ее цели.

Таким образом, допускается, что приятельские отношения в террористической группе, замысляющей захват власти, имеет ценность, поскольку укрепляют ее надежность. Этому же способствует жесткая дисциплина, в рамках которой, исполненная энтузиазма муштра компенсирует отчужденность среди членов группы. Даже если группа видит свою цель в совершенной организации общества, опасно, если зародыш этого совершенства проникнет в жизни самой группы, потому что следствием такой скороспелости может оказаться ослабление "эффективности" группы. Считается, что ни один член группы не должен чересчур удаляться от своего времени (жителя цветущего оазиса вряд ли увлечешь планами ирригации пустыни).

При столь упрощенном подходе реальная и индивидуальная ценность группы остается такой же непостижимой, как ценность личности, о которой судят не по ее качествам, а только по оказываемому впечатлению. Заблуждение растет по мере умножения призывов к жертвенности и отказу от самореализации (с излюбленной ссылкой на удобрение, приносимое в жертву будущему урожаю). Можно еще отказаться от счастья, богатства, власти, даже от жизни, но невозможно приносить в жертву бытие — никакой момент, утверждающий о своей связи с реальностью, не может вызвать таких будущих моментов, ради обогащения которых он должен оставаться нищим.

Чувство общности царит не там, где желанные социальные изменения совместно вырываются из рук сопротивляющегося мира, а там, где борьба ведется с позиции борющейся за свою реальность внутренней общности. Здесь будущее рождается по-иному: все политические "достижения" оказываются, в лучшем случае, вспомогательными средствами относительно того результата, который возникает на необозримых путях тайной истории и изменяет саму сущность. Любой путь ведет лишь к той цели, которая подобна ему.

Кто среди марширующих коллективов ясно осознает то общество, за построение которого он борется и не капитулировал перед его теоретическим двойником? Коллектив не связывает людей, а упаковывает их вместе; вооруженные и мар-

ширующие индивиды наделены жизнью лишь в той степени, в какой она воспламеняет их марширующий шаг. Но возрастающая общность — это уже не бытие индивидов бок о бок, а бытие личностей лицом к лицу. Для каждой личности из общности, хотя они тоже движутся к одной цели, характерен поворот к другому, динамическое обращение к нему, течение от Я к Ты; общность возникает там, где происходит общение. Коллективность основана на организованном удушении личного существования, общность — на его возрастании и утверждении в жизни, переживаемой друг для друга. Современное устремление к коллективности — это ускользание от общественной проверки и прояснения личности, бегство от жизненного диалога, который требует поставить на карту себя, стоящего в сердце мира.

"Коллективисты" свысока смотрят на "сентиментальность" предыдущего поколения, которое, проявляя широкий по охвату и глубокий по проникновению интерес ко всем жизненным связям, было нацелено на "общность", остававшуюся, впрочем, весьма проблематичной. Прежде, не осязая цели, ходили по кругу; теперь, открыв "причину", командуют и маршируют. Ложные пути субъективности были отброшены, как только обнаружилась, ведущая прямо к цели, дорога объективизма. Но как рядом с субъективностью существует псевдо-субъективность, которой недостает изначальной силы бытия, так рядом с объективизмом существует псевдо-объективизм, который приспособливает человека не к миру в целом, а к какой-то его части. И если в псевдо-субъективности все песни во хвалу свободе поются в пустоту, так как ей известно только освобождение от уз, а не освобождение к ответственности, то в псевдо-объективизме даже самые величественные гимны власти оказываются сплошным недоразумением. Фактически они лишь расширяют пределы завоеванной речами и криками видимой власти, за которой скрывается драпированное мощными складками позы отсутствие согласованности. Подлинная харизматическая власть, прославляемая в этих гимнах, в ее постоянном отклике Господину харизмы остается

нынешним политикам неизвестной. На первый взгляд оба поколения качественно противостоят друг другу, но в действительности оба они приходят к одному и тому же хаотическому состоянию. Участник индивидуалистического движения, размышляющий в первую очередь над своими проблемами, заботится /каковы бы ни были эти проблемы/ о своем собственном вкладе в них, он "переживает" свое Я, не закладывая себя, не обязуясь гарантировать отклик и ответственность своим бытием. Коллективистское сознание заблаговременно избавляет марширующего и действующего человека от себя и таким образом радикально снимает с него проблему ответственности. В первом случае монолог прикидывается диалогом; во втором — монологическая жизнь выколочена у людей по их собственному желанию, а те, кто отдает приказы, не имеет надобности выдумывать что-то, относящееся к диалогу. Диалог и монолог заглушены. Стиснутые вместе люди маршируют без Ты и без Я — и те, кто жаждет упразднить память, и те, кто хочет упорядочить ее; враждебные и разделенные полчища маршируют в бездну.

Раздел третий. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Б е с е д а с о п п о н е н т о м .

По отношению к этим мыслям я рассчитываю на двоякого рода читателей: с о р а т н и к а, знакомого с действительностью, на которую я указываю, и о п п о н е н т а, отрицающего ее и считающего, что я ошибочно утверждаю ее реальность. Оппонент воспринимает сказанное мной с той же серьезностью; что и я, но, так сказать, с отрицательным знаком. Возможен еще п р о т и в н и к, который способен воспринять мои мысли, лишь переместив их предваритель-но в плоскость идеологии, но я охотно обойдусь без него.

Что касается оппонента, то мне совершенно недостаточ-

но заявить, будто я указываю на скрытые стороны его собственной личной жизни, на его тайну, и что стоит ему перешагнуть через некий порог, как он сам согласится со всем, что сейчас отрицает. Подобное заявление не в силах отклонить его серьезнейший протест, который я должен принять таким, каким он подан, и на который мне необходимо ответить:

"Вы не принимаете в расчет реальной обусловленности нашей жизни. Все, о чем вы говорите, происходит в какой-то утопической стране, а не в знакомом всем социальном контексте, которым определяется наша реальность, если она вообще чем-либо определяется. Ваше "два собеседника" похоже на двух летних отпускников, проводящих время в уединении. Вряд ли им удастся занять подобную позицию в большом городском учреждении. Ваша "прерываемая беседа" несомненно ведется двумя интеллигентами, которым за месяц до небывалой социальной катастрофы достаёт досуга фантазировать о ее предотвращении посредством духовного влияния. Вполне возможно, что все это интересно тем, кто не особенно связан делами и обязанностями. Но может ли рядовой служащий "говорить о себе, ничего не скрывая" своим коллегам? Может ли рабочий на конвейере "чувствовать себя обращенным к тому, что творит?" Может ли директор гигантского завода "вести ответственный диалог"? Вы требуете, чтобы мы вступали в приближающуюся к нам ситуацию, а сами пренебрегаете наличествующей ситуацией, в которую каждый — поскольку мы участвуем в жизни общества, — вовлечен стихийно. Так что, несмотря на ваши призывы к конкретности, все это — ни что иное, как исправленная редакция индивидуализма."

И я, прекрасно понимая, что мои мысли предназначены не тому, кто стоит к ним в оппозиции и лишен общего со мной переживания, отвечаю:

Прежде всего, уважаемый оппонент, если уж нам пришлось беседовать друг с другом, а не выступать по очереди в присутствии другого и мимо другого, прошу обратить внимание на то, что я ничего не требую, так как не имею к тому призвания и реальной возможности. Единственное, что

я могу— это указать на нечто; так что я— всего—навсего регистрирую. Да и разве можно требовать от людей диалогической жизни? Заранее предписанный диалог не существует; диалог— это не то, что мы должны ответить, а то, что м о ж е м ответить. Диалогическая жизнь— в отличие от диалектики— отнюдь не привелегия интеллектуальной деятельности, она не превосходит возможностей обычного человека. В диалоге нет одаренных и бездарных, есть только отдающие себя и удерживающие; и тот, кто отдаст себя завтра, ничем не отмечен сегодня, так что он ничего о себе не знает, а лишь найдет, и "найдя, изумится".

Вы упомянули человека, поглощенного делами и обязанностями. Но именно его я и имею в виду— человека на заводе, в магазине, в учреждении, в шахте, на тракторе, за типографским станком; я не отыскиваю особых людей, а принимаю тех, какие есть, иначе говоря, впряженных в ярмо обусловленности. Диалог— не предмет духовной роскоши и наслаждения, а часть мироздания, к которой относятся и все эти люди.

В своих размышлениях о диалогической жизни мне приходилось приводить примеры из области, которую вы называете "интеллектуальной", то есть оттуда, где все вещи закончены, округлы и в какой—то мере образцовы. Однако не столько "чистое" интересует меня, сколько мутное, подавленное, скучное, тяжелое, тупое; и еще одно— прорыв. Прорыв, а не совершенство; более того, не тот прорыв, что вызван отчаянием с его разрушающими и обновляющими силами, не великий катастрофический прорыв, осуществляемый раз и навсегда, а прорыв из состояния тупо—умеренной неприветливости и упрямства, в котором пребывает человек среди сумятицы жизни, прорыв, который может ему удасться и иногда удается.

Прорыв куда? Не в нечто возвышенное, героическое или святое, не в "или—или", а всего лишь в мельчайшую определенность и светлость сегодняшнего дня, где приходится иметь дело с теми же обязанностями и делами, с той же "реальностью", что и прежде, но таким образом /взгляд во

взгляд, лицо к лицу, слово на слово/, что реальность обращается и говорит мне, а я- ей. И тогда в суете и рутине, которую я прежде называл реальностью, мне открывается прекрасная, подлинная реальность, сотворенная и данная мне на веру и ответственность. Я не отыскиваю смысл в вещах, равно как и не вкладываю его в вещи, но он может оказаться между мной и вещами.

Бесполезно, уважаемый оппонент, сперва приписывать мне патетический принцип "все или ничего", а потом доказывать его необоснованность. Я не знаю, что такое "все", я не знаю, что такое "ничего"; и то и другое представляется мне в равной степени нечеловеческим и надуманным. Я имею в виду реальность происходящего, реальность того, что человек может исполнить и воспринять в данный час, если он отдает себя и не позволяет обмануть себя мысли, вроде того, что есть места, исключенные из творения, что он оказался именно в таком месте и лишь после смерти вернется в творение; или что творение некогда было, но безвозвратно кончилось, а теперь осталась одна работа, и потому пора забыть всякий романтизм, и, стиснув зубы, заниматься тем, что признано необходимым.

Никакой завод и никакое учреждение не оставлены творением до такой степени, чтобы от одного рабочего места к другому, от стола к столу не смог устремиться творческий взгляд- трезвый и братский взгляд, гарантирующий реальность происходящего. Ничто так не способствует диалогу между человеком и Богом, как откровенный и лишенный сентиментальности обмен взглядами между двумя людьми, оказавшимися в чужом месте.

Но бесконечно ли пребывание в чужом месте? Должна ли жизнь человека и впредь, на протяжении всех времен, разделяться на чуждую ему "работу" и домашний "отдых"? Более того, должна ли его жизнь- поскольку вечера и выходные дни не вполне свободны от влияния рабочего дня, а неизбежно подавляются им- разделяться на работу и отдых, утративший свою непосредственность и последний ос-

таток нерегулируемой свободы? /Свобода, которую я имею в виду, не устанавливается новым социальным строем/.

Разве не бродит уже под всеми удовлетворенными желаниями нечто неизвестное, первичное и глубокое, для удовлетворения которого не найдено рецепта и которое возрастет до таких размеров, что сумеет продиктовать технократам, предпринимателям и изобретателям свои условия: "Занимайтесь своими делами, но очелoveчьте разум. Введите в свои цели и вычисления живого человека, который жаждет обрести взаимную связь с миром". Разве не бродит где-то в глубине стремление пропитать свою деятельность диалогической жизнью? Разве не возникает тяга к такому трудовому порядку, при котором жизненный диалог настолько пронизывает работу, насколько допускают преследуемые ей цели? Но едва ли сегодня, когда решение поставленной мной проблемы находится во власти слепых к реальности фанатиков и слепых к человеческим возможностям пророков неодолимой трагедии мира, можно определить ту степень, в какой работа способна включить в себя жизненный диалог.

Нередко даже свое отношение к машине человек переживает как отношение диалогов, когда, например, механик воспринимает гудение машины как "благодарную улыбку за помощь в преодолении трудностей, которые причиняли ей беспокойство". /Не следует ли в связи с этим вновь припомнить историю Андриана и льва?/. Но если человек вовлекает в свою страстную ~~жизнь~~ жажду диалогов безжизненную вещь, надевая ее независимостью и, так сказать, душой, значит, в нем существует предчувствие всемирного диалогов, диалогов с мировым событием, подступающим к нему в его собственной среде, которая отчасти состоит из вещей. Или вы всерьез думаете, что подающий и принимающий знаки остановится на пороге, за которым пребывает открытый и честный дух?

Вы с усмешкой спрашиваете, может ли директор гигантского завода вести ответственный диалог? Может. Ибо он уже ведет диалог, когда воспринимает дело, которым руководит во всей его конкретности. Он ведет диалог, когда

переживает свое дело не как систему машин и обслуживающих их людей, которые различаются только функционально, а как сообщество людей, имеющих свои лица, имена и биографии и связанных вместе работой, которая хотя и оценивается с точки зрения результатов, но не сводится к ним. Он ведет диалог, когда внутренне ощущает в своем дисциплинированном воображении сообщество этих людей /хотя, естественно, не может знать и помнить всех/, так что стоит одному из них реально войти в поле его зрения и сферу решений, как он без всякого напряжения воспринимает его как лицо, а не как безликое рабочее приспособление с номером. Он ведет диалог, когда схватывает эти лица и обращается с ними как с личностями — большей частью, конечно, косвенным образом, через систему опосредования, но там, где дело касается организации, прямо и непосредственно. Естественно, что и предприниматели, и рабочие воспримут поначалу его действия как потрясающую глупость, а практическое отношение к людям расценят как дилетантское, но все это лишь до тех пор, пока возросший уровень производства не оправдает его в их глазах. /Нельзя, впрочем, гарантировать рост производства — между истиной и успехом нет предустановленной гармонии/. Затем произойдет самое худшее: ему начнут подражать, то есть, отбросят его образ мыслей и будут использовать только "метод". Однако, я уверен, что демонический элемент, присущий духовной истории человечества /взять хотя бы магию/ разобьется в данном случае о пронизательность человеческих душ. Вместе с тем, есть надежда, что новое поколение воспримет все столь же серьезно, как он сам.

Несомненно, люди все больше зависят от социальных "обстоятельств", причем возрастает не только их абсолютное, но и относительное значение. Частично определяемый ими, индивид встречается с конкретной реальностью, желающей достичь его и получить от него ответ; вовлеченный в определенную ситуацию, он сталкивается со все новыми и новыми ситуациями. И все-таки, при всей этой сложности и

многообразии он остается Адамом, и принимает действительное решение, независимо от того, встречает он слово Бога, пронесенное ему в событиях, или бежит от него. Творческий взгляд, брошенный на своего товарища по творению, нередко оказывается достаточным откликом.

Человек все в большей степени становится социально-детерминируемым существом, в результате чего его проблемы перемещаются из плоскости "должно" в плоскость "можно" и "нужно". Весь вопрос упирается в отречение от пантехнической мании и от привычки легкого "овладения" любой ситуацией; в способность человека пропитывать все, от повседневных тайнств до величия разрушительной судьбы, диалогом подлинной жизни.

Задача становится все более трудной и важной, а ее решение усложняется и требует от людей все большей решимости. Упорядоченный хаос века ожидает прорыва, и любой человек, способный воспринимать и откликаться, может содействовать этому прорыву.
